

ВЕЧЕР ВСТРЕЧ ЯКТЫКА АБРАМЫЧА

1

— И знаете, Люсенька, давайте-ка вы ещё нам по сто пятьдесят, лимончику, ну и сообразите, что там двум старым друзьям за встрече да за предстоящее знакомство.

Люсенька, и так час вившаяся вокруг двух охрененных мужиков, вся встрепенулась, кивнула, дробно хихикнула, вздёрнулась так, что чуть вся не выпрыгнула из нарочно маловатой по размеру блузки, и пошла-пошла выруливать между столиков. Она точно знала, сколько глаз обжигало ей зад, поэтому шла сдержанно, чтобы каждая ямочка на попе свой танец танцевала. Ей нравилось нравиться, нравилось желаться, ну и... А чёрт его знает, Люська, вечер-то долгий, а моряк, моряк-то — мамочки мои, какой моряк! Смуглый блондин с голубыми глазами. По повадкам не меньше старпома, никак не штурман, Люся прекрасно научилась отличать чересчур спокойных старпомов от мелко-дробных, чуть суетливых штурманов или ухарски-блядующих помполитов.

«Такой молодой! Мама, где ты, мама, ты погляди, мама, на его глаза. Брови аж белые, чуб по старой моде, виски седые — а такой ведь молодой совсем!.. И где это Фил находит таких друзей?! От же ж ты зараза, Люсенька Петровна! Сумела, выхитрила, просекла, увидев двух мужиков, сдававших плащи Аполлинарию Матвеевичу в гардеробе, сразу рванулась, мёдом словно поцеловала — самого Фили и его приятеля! Ай, хорошо!»

Да и кто не знал завсегдатая «Крыши» Фили Сильвера — Ефима Зильберштейна? Любимчик джазового Ленинграда, хорош собой, роскошный еврей. Молодой, высокий, сильный, очень-очень не бедный. А помните, как на прошлое 8 Марта, как он к лабухам поднялся, что на саксе учудил? Да лабухи рыдали от счастья, а какие танцы были!

Часто захаживал Фил в «Европейскую», всё с музыкантами, да ещё и с иностранцами какими-то — пил коньяк, щедро угощал. А если хмелел, то садился в уголок, смотрел на приятелей и светил своей беззащитной, чуть лошадиной улыбкой, летая в цветочных парах «Ани». И всякий раз ухитрялся с такими странными личностями прийти — чёрт его знает, где он таких брал, будто из параллельного мира какого-то. Ну как так получается, что и друзья у Фили были как на подбор, хороши собой? Но не смазливо-мелочной повадкой завсегдатаев Катькиного садика, а мужской уверенной породой. Уж в чём-чём, а в этом взвод официанток «Европы» был единогласен.

— Давай, Винс, пока ребята наши не подошли, давай выпьем за Жорку, — Сильвер вдруг как-то по-детски сморгнул соринку в глаз, посмотрел на Яктыка исподлобья, словно прощения просил.

Винс тихо кивнул, сжал губы, отчего только сильнее прорезались ямочки на щеках. В прищуренных глазах засинела старая боль. Хотел бы он, многое бы отдал, чтобы Жорка Садыков снова здесь сидел — рядом. А может, и был рядом Жорка. Винс жестом показал «погоди, мол», встал, взял у какого-то солидного мужика за соседним столом чистую чарку, поставил рядом и отлил из своей рюмки. Сосед вздёрнул возмущённо брови, открыл было рот, но Яктык настолько его не замечал, а Фимка так печально долил коньяк из своей, что мужик что-то понял, поразмышлял, посмотрел на свой антрекот, аккуратно закрыл рот и послушно стал дожидаться официантку.

Одинокая чарка, до краёв долитая коньяком, жгла им глаза. Руки не дрожали, нет. Только ждали они, сердца чуть замирали, барахлили, словно ждали штуку какую учудить — так, как только Первый Джордж умел. Сидели в ту секунду два взрослых мужика, сильных и спокойных, и тихонько, не сговариваясь, меряли время. Может, хотели, чтобы рядом встал Жорка — гибкий, ртутно-подвижный, с тоненькими усиками, улыбнулся им своей очаровательной улыбкой: «Ну, привет, старики! Заждались?» Джордж бы расспрашивал, что нынче танцуют, да как живут-могут друзья, да каких девушек любят, да каким словам

верят. А что им рассказать было? Что Фима в лучшем джаз-оркестре дудел и лучше не было сакса от Капкана до Ямы? Что Винс мариманил помаленьку и всё грустнел и не решался шагнуть по причалу — туда, куда так давно хотел?

— Вот скажи мне, Фима. Вот объясни, — Винс подцепил ножом ломтик сёмги (сегодня угощал он — Фимка, как младший, догонял). — Скажи, умная ты еврейская морда, вот как так получается — Джорджа урки убили, а он живет нас с тобой?

Фима осторожно поставил пустую рюмку на стол и посмотрел в донельзя уставшие глаза Виктора.

— Боже ты мой, Витя. Да что ты такое себе говоришь? — он помолчал, осторожно похрустывая попачьи длинными пальцами. — Смотри. Ты — второй помощник. Ты видел мир. Откуда ты вернулся? Из Гамбурга? А перед этим? Нант? Марсель? Ливерпуль? Ты не замечаешь, как и что ты говоришь, Винс. Да я бы душу бы продал, — зашептал он быстро, горячо, все сильнее грассируя. — Душу бы продал, чтобы в окошко посмотреть на огни этих твоих борделей, увидеть, как люди там по улицам просто ходят, просто живут. Понимаешь, Витька? Просто живут... Жорка... Джордж — он ведь там остался. Там, где тебе семнадцать было. Ему навсегда семнадцать, Витя. А сколько тебе сейчас? Тридцатник стукнул. Ну? Ты в два раза старше Джорджа стал...

— Да и что, Фима! И что?! Да и хрен бы с ним с этим возрастом?! Душа-то, понимаешь? Совесь,

она же как — с душой живёт. Что же — совесть стареет? Душа — она может стареть?! Твою ж мать, Фимка! Вот ты всё правильно говоришь — «второй помощник», «карго», Гамбург, всё такое. Да видел бы ты, Фимка, как я по Осло ходил — в первой загранке! Кому рассказать, думал, что вот сейчас зажму уши — и побегу, побегу! Чтобы не слышать, как мастер заорёт, чтобы приказа возвращаться не слышать! Бежал бы, летел просто. Понимаешь?

— А чего ж не побежал, Винс? Ты ж немецкий знаешь, английский знаешь, что же так? — Фимка оперся локтями на столик, подался вперёд, только поблескивал толстыми линзами в модной оправе. — Тебя же никто не держал. Ну?

— Эх, Фима-Фима, дружище, да подумай ты своей рыжей головой — ведь там всё чужое. Ведь мы поигрались в это всё, — Виктор показал на приготовленную стопку пластинок с волосатыми мальчишками на конвертах. — Думали, что вот, умеем танцевать, умеем волну ловить, все стильно, не так, как у здешних, — он презрительно скривился. — Этих домашних сынков. Ну что, шаг только сделай — и мы там. Раз-два и в дамки! Хер там! Погоди, не маши руками, слушай. Вот ты понимаешь — знаешь, что самое глупое во всём этом? Знаешь? Я страшный тебе секрет расскажу. Самое глупое — то, что там всё такое же, как здесь. Свои правила, свои привычки. Старики, дети. Богачи, начальники, бедняки, хорошие люди и жужики. Жизнь такая же, понимаешь?

Посытнее, что ли. Да разве сытостью жив будешь, Фимка?

— Погоди. П-п-погоди, что ты несёшь?! Ты сейчас что, к-корку жуёшь? Сёмгу! Откуда р-р-рыбка? Тебе что, за форму твою пайку принесли? Или старпомовские свои положил? Нет же! Слушай, ты выпей, Винс. Что-то я тебя не понимаю сегодня. Сколько мы не виделись? Д-два месяца? Два? Точно, два. Д-д-да что с тобой?

— Извини меня, Фимка, умный ты дудочник. Вот кому там ещё один моряк нужен? Ещё один стилига? Я тебе потом про стилиг тамошних расскажу — не поверишь. Потом расскажу, не до этого сейчас, — Яктык затянулся так, что пижонский «Кэмел» затрещал. — Мне как тридцатник в море бабахнул, я тогда на вахте был... Шли мы через Скагеррак тяжело, ветер всё время с курса сваливает, сырость, темнотища. И наш «Медногорск» весь глухо стонет. Знаешь, что такое, когда железо стонет? А я, веришь, почувствовал, понимаешь, вдруг почувствовал, что корабль — весь, Фимка, представляешь, весь! — распадается вот-вот, дно разваливается, а внизу, там — падать и падать до балтийского ила. Смотрю я на линолеум в рубке, а внизу воду вижу, словно нету корабля. Страх такой взял. Никому не говорил, Фимка, тебе только, достал ты меня своими гляделками, морда. Пей давай. А, ч-ч-чёрт, пусто. Ладно, на, возьми лимончик пожуй, не смотри так влюблённо... Вот... Понимаешь, мысль ударила: «Вот, Виктор, тебе три-

дцать. Что ты сделать успел, какой ты след оставил?» Вышел на правое крыло, стою под дождём, смотрю назад, а сзади — по чёрной воде белый след кильватерный — будто мелом кто прочертил. И волны, как собаки голодные, его жуют, жуют, стирают, как тряпкой. Понимаешь, Фимка? Всё, что после меня есть, — белая черта. На воде. И тут же нету ничего. Я — живой, внизу машина стучит, рядом мастер сопит, кроссворд в «Науке и жизни» решает. А у меня мысль: «Что я здесь делаю?!»

Фимка молчал, изучал солянку, не хотел поднять глаза, вспугнуть Винсову исповедь. «Пусть выговорится, устал мужик».

— Ну, вожу я эти пластинки, барыгам сдаю за четвертные, за полтинники. Не бедствую, да, ты это здорово заметил. Гад ты, Фимка, вот ведь нация ваша, всё к деньгам сводит.

— Ты так думаешь, Винс?

— Вот только давай меня за язык не хватать, Фимка, знаешь, о чём я. Ну ладно, ладно, извини. Дурак. Дурень. Да где ж эта Люсенька?! — Яктык выпрямился, посмотрел вдаль, высматривая приткую официанточку. — Ты ж пойми. Ну, есть квартира. Есть моё нестарое тело. Голова на плечах цела. Есть женщина.

— Есть? Вот видишь, а ты мучаешься.

— Шведка, — буркнул Винс и спрятал глаза, чтобы чуть насладиться незаметной похвальбой.

— Швед-ка?! П-п-пог-годи. Врёшь ты всё, Винс.

— Из Сундсвалля. Погоди.